

Д. С. ЛИХАЧЕВ

Борис Александрович Романов и его книга «Люди и нравы древней Руси»

18 июля 1957 г. скончался Борис Александрович Романов — историк-источниковед, постоянно соприкасавшийся в своих работах с литературоведением, человек яркой индивидуальности, талантливый воспитатель молодых ученых, блестящий лектор и собеседник, тонкий ценитель и мастер словесного искусства.

Б. А. Романов родился в 1889 г. в Петербурге в семье профессора Института инженеров путей сообщения А. Д. Романова. В 1906 г. он окончил классическую гимназию, а затем, в 1912 г., Историко-Филологический факультет Петербургского университета, где занимался в семинарах С. Ф. Платонова, А. С. Лаппо-Данилевского, Э. Д. Гримма, И. М. Гревса и у А. Е. Преснякова, учеником которого Б. А. и считал себя. Из семинара А. Е. Преснякова вышла первая печатная работа Б. А. «Смердий конь и смерд» (ИОРЯС, кн. XIII, 1908), увидевшая свет, когда ее автор был еще только студентом третьего курса. В этой работе уже сказались типичные черты Б. А. как исследователя: виртуозное толкование источников, обостренный интерес к социальным проблемам, сильное историческое воображение и серьезная филологическая подготовка.

По окончании курса Б. А. был оставлен при университете для подготовки к научной деятельности и одновременно вел преподавательскую работу в средних учебных заведениях Петербурга: в гимназиях Михельсон, Таганцевой, в Смольном институте и др.

После Октябрьской революции, с образованием в 1918 г. особого Архивного ведомства (Главархива), Б. А. вместе с многими другими учеными стал в нем работать (и работал до 1929 г.) по архивным материалам XIX и XX вв. Занятия в архиве, главным образом материалами Третьего отделения Общей канцелярии Министерства финансов, наложили прочный отпечаток на всю последующую научную деятельность Б. А. Длительное общение с архивным материалом воспитало в нем ту тягу к конкретности и дало ему то «дополнительное историческое чувство», которым Б. А. имел впоследствии все основания гордиться. «Чем грязнее и грязноватее работа в исторической кочегарке, — говорил Б. А., — тем органичнее вживание в проблему, тем острее глаз историка, точнее и безошибочнее его рука в работе».

«Историческая кочегарка» — Главархив — дала Б. А. и основные темы его работ по новой русской истории. Министерство финансов, во главе которого стоял Витте, субсидировало строительство Восточно-Китайской железной дороги, фактически осуществляя всю политику России на Дальнем Востоке, поэтому архивный фонд канцелярии Витте давал единственный ключ к ее изучению.

Б. А. был одним из первых историков, обратившихся к современной ему истории. Он отверг предубеждение старых историков против занятий «модернистскими» (как они их называли) темами и применил историко-ведческий анализ, отточенный на древнерусском материале А. А. Шахматовым и А. Е. Пресняковым, к документам, на которых почти еще не сохли чернила.

В архивных материалах Министерства финансов Б. А. нашел документальный комментарий к «Воспоминаниям» Витте. Эти «Воспоминания» произвели в свое время огромное впечатление в разных кругах общества. В частности, они были, по выражению Б. А., своего рода «чудотворной иконой», удобно помогавшей консервативно настроенным людям спокойно объяснить для себя падение николаевского режима, не расставаясь со своими консервативными убеждениями. В ряде своих работ, посвященных Витте, Б. А. вывел этого «ядоотравителя» и «крупнейшего дельца, не доучившегося до того, чтобы стать деятелем» (выражения Б. А.) из-за его своеобразного «литературного прикрытия» и показал империалистические устремления его политики на Дальнем Востоке, лишь маскировавшиеся показным миролюбием.

Только после того, как Б. А. опубликовал более 40 работ, этюдов историко-ведческого характера и острых характеристик отдельных проводников политики самодержавия, он приступил к написанию своего капитального исследования, выросшего на основе его почти десятилетней работы в Централхиве, — «Россия в Манчжурии» (Л., 1928). Работа эта писалась буквально у типографского станка. Корректуры первых глав шли одновременно с тем, как писались последние. «Типография наступала мне на пятки», — вспоминал Б. А. Такая быстрота в работе могла быть развита только в результате того, что весь материал его будущей книги был досконально подготовлен, удержан в памяти, сам просился на бумагу. В этом громадном труде были изучены русско-китайские, русско-японские и русско-германские отношения, приведшие в конце концов к русско-японской войне 1904—1905 гг. Это была одна из первых советских работ, использовавших немецкую документацию «Die Grosse Politik». По обилию материалов эта книга оставила далеко позади себя все работы, выходившие до того, по дальневосточной политике России и по истории русского империализма на Дальнем Востоке. Но особый интерес этой книги заключался опять-таки в мастерском историко-ведческом анализе. Привычка, выработанная на древнерусском материале, «рассматривать документ в лупу» (выражение Б. А.) сыграла и в этой книге выдающуюся роль. Анализируя источники, Б. А. сумел показать, что войну и международные отношения России того времени следует рассматривать сквозь призму их финансовой ткани.

Книга «Россия в Манчжурии» была встречена маститыми учеными на первых порах с некоторым недоверием. Только Е. В. Тарле отозвался о ней положительно. Но уже через несколько лет вышли ее переводы на китайский и английский языки. Она получила мировую известность и была признана основным трудом по дальневосточной политике России начала XX в.

Я не касаюсь многочисленных работ Б. А. по истории рабочего движения, революции 1905 г., русским финансам и т. д.: они получили заслуженную известность. Остановлюсь только на обширном труде Б. А. «Очерки дипломатической истории русско-японской войны», изданном в 1947 г. Так же как и предшествующая книга («Россия в Манчжурии»), данная работа синтезировала многочисленные отдельные исследования и публикации автора. Б. А. ставил себе задачей в этом труде опровергнуть

положение школы М. Н. Покровского, что русско-японская война не была войной империалистической. Опираясь на многочисленные документы, Б. А. показывает империалистическую сущность русско-японской войны. Он вскрывает двойственную природу русского и японского империализма, оплетенного и в России и в Японии густой сетью отношений еще докапиталистических. Он рисует русско-японскую войну в свете мировой борьбы империалистических держав за раздел Китая и за господство на Тихом океане. Серьезной заслугой Б. А. явилось то, что он рассмотрел «дипломатическую историю» (кстати сказать, термин, впервые введенный Б. А. в научное употребление) русско-японской войны в тесной связи с внутренней жизнью России и Японии. В этом отношении книга Б. А. решительно отличается от всякого рода зарубежных «histoires diplomatiques» и «diplomatic histories», где весь интерес сосредоточивается на разоблачении закулисных тайн, на демонстрации ловкости дипломатов и т. д. Б. А. характеризует внутреннюю политику царизма, показывает позиции отдельных группировок правящей верхушки. Наконец, Б. А. пристально следит в своей книге за ростом революционного движения.

Второе издание этой книги вышло в 1955 г. По существу, это была почти новая книга, так как по сравнению с первым изданием ее объем увеличился более чем в два раза, а тема расширилась включением Портсмутского мира и ряда других вопросов внешней политики России, международных отношений вообще и внешней политики США в частности.

Возвращение к древнерусской тематике в конце 30-х годов было для Б. А. Романова связано с реальным приближением к древнерусскому письменному, языковому и археологическому материалу. Он работает с филологами над картошкой Древнерусского словаря, руководившегося тогда Б. А. Лариным, расписывая, а иногда почти что переписывая на карточки древнерусские памятники (Ипатьевскую, Симеоновскую и Типографскую летописи, все изданные летописи новгородские, Историческую и Толковую палеи, Русскую Правду, судебники, псковскую и новгородскую судные грамоты, писцовые книги, Акты юридические, ряд памятников Петровского времени и др.). Он работает вместе с археологами над «Историей культуры древней Руси» (см. его главу «Деньги и денежное обращение» в томе 1, М.—Л., 1948) и даже одно время состоит в штате Института истории материальной культуры АН СССР. С историками-текстологами он работает над академическим изданием «Правды Русской», внимательнейшим образом пересматривая весь ее текст, все ее толкования, составляя технический костяк книги — ее превосходные и разнообразные указатели.

В 1947 г. вышел второй том академического издания «Правды Русской» под редакцией акад. Б. Д. Грекова; он был весь посвящен комментариям и в львиной своей доле принадлежал Б. А. Огромный том (80 печатных листов, 862 страницы большого формата) подводил итоги более чем двухсотлетнего изучения Русской Правды и вносил много свежего и нового. Замечательна та точность, с которой Б. А. излагает взгляды своих предшественников, сохраняя их подлинные выражения, терминологию и давая читателям возможность воспользоваться всем тем ценным, что было в старых исследованиях. Историкам древней русской литературы в комментариях Б. А. особенно полезным явились толкования отдельных слов Русской Правды с лексическими параллелями из других памятников древнерусской письменности.

Наибольший интерес для специалистов по древней русской литературе представляет книга Б. А. «Люди и нравы древней Руси (историко-бытовые очерки XI—XIII вв.)», изданная в 1947 г. Ленинградским университетом. Книга эта далеко не обычна по своему замыслу и исполнению. Она вызвала

очень много разговоров, встретила самые различные отзывы — от резко положительных до резко отрицательных. Равнодушных читателей у ней не было. В этом нет ничего удивительного: сам Б. А., когда эту книгу писал, отчасти на это рассчитывал. Он писал свою книгу с некоторой запальчивостью. К сожалению, споры, возникшие вокруг этой книги, не получили должного отражения в печати. И это обстоятельство, как и то, что эта книга наполовину литературоведческая, обязывает нас рассмотреть ее возможно подробнее.

Книга Б. А. «Люди и нравы древней Руси» необычна прежде всего по самому своему подходу к историческому материалу: Б. А. задался целью реконструировать жизнь домонгольской Руси, реконструировать исторические типы людей с тем, чтобы «дать живое и конкретное представление о процессе классового образования в древнерусском феодальном обществе» (стр. 5). Ученый сочетается в Б. А. с художником, научный анализ с художественным воображением (именно с воображением, а не с фантазией исторического беллетриста). При этом необычном для научной книги профиле необходимо оценить не только ее научные утверждения, но и ее своеобразный художественный замысел.

Обратимся к последнему. О приемах своей художественной реконструкции жизни XI—XIII вв. Б. А. довольно точно пишет сам в предисловии к книге: автор «взял на себя, как толмач, перевести старинные слова» на язык современного читателя (стр. 14—15). Б. А. переводит тут же — на глазах у читателя, демонстрируя в книге и подлинный текст и его интерпретацию в современных понятиях, в современных представлениях (в книге дается, конечно, не языковой перевод, а перевод понятий, представлений). Этот «перевод» сближает древние понятия с современными и одновременно, путем этого сближения, вскрывает их различия. Чтобы приблизить жизнь древней Руси к взору и слуху современного читателя, Б. А. обильно вводит в свой текст вполне современные нам выражения, совмещая их с архаизмами, взятыми из подлинных древнерусских материалов. Эти современные нам выражения возможны в книге только потому, что рядом с ними Б. А. ставит выражения XI—XIII вв. Вместе с тем глубокие архаизмы XI—XIII вв. звучат для нас по-новому только потому, что рядом даны их «эквиваленты» XX в. Отсюда своеобразная гротескность положений (стр. 173—175, 202 и др.). Б. А. ни разу не уклоняется от тонко найденной им необычной линии изложения — ни в сторону преобладания архаизмов, ни в сторону преобладания модернизмов. Всякое уклонение привело бы изложение либо к модернизации исторического материала, либо к чрезмерной его архаизации. В данном же необычайно остром сочетании жизнь древней Руси приближается к современному читателю до почти полной ее осязаемости и зримости в отдельных ее проявлениях. Правда, читателей ученых с консервативными литературными вкусами эта своеобразная манера изложения настроивала отрицательно к книге Б. А., но она же создавала ему близких друзей среди тех, кто предпочитает острую постановку вопросов, научную смелость и оригинальность ученому снобизму и скучному научному благоприличию.

В своей книге Б. А. использует хорошо известные источники — Русскую Правду, Моление Даниила Заточника, Кириковы Вопросания, Поучение Владимира Мономаха, Киево-Печерский патерик, Житие Феодосия Печерского, летопись и т. д., но он ставит этим источникам такие вопросы, которые им еще не предлагались. Б. А. использует эти памятники для воспроизведения живых, ярко расцвеченных картин домонгольской жизни. Он изображает погоню за бежавшим холопом, используя для этого Русскую Правду, рисует картины монастырской жизни, используя для этого

Киево-Печерский патерик, воспроизводит «жизнь человека», идя за этим человеком по следам Кириковых Вопросаний, и т. д. Эти «круги жизни» склываются автором в единую цепь своеобразно выбранным для этой цели «гидом» — Даниилом Заточником. «Гид» этот выбран на редкость удачно. Это человек, захваченный, согласно концепции Б. А., процессом классового образования, человек, носимый, как щепка, в бурном потоке жизни XII—XIII вв., «ищущий выхода из своего художества, т. е. бедственного положения, в какое он попал в середине жизненной карьеры» (стр. 17), человек, «начинающий строить свой быт сызнова» (стр. 183), «мизантроп», относящийся к современной ему жизни с критикой и с «приглядкой к ее гримасам» (стр. 183). Это человек безусловно своего времени, самыми тесными узами связанный с русской действительностью XII—XIII вв. Б. А. не выдумал его — он только реконструирован им на основе реального произведения, но под пером Б. А. он превращен в некий «средний тип» эпохи. Автор примеривает его к различным жизненным ситуациям XII—XIII вв., читает его глазами «Слово о полку Игореве» (стр. 280 и сл.) или расценивает его словами современных ему князей (стр. 22 и сл.). В конце концов Б. А. настолько объединяет Заточника с его эпохой, что Заточник становится для него неким символом своего времени. Перед нами, конечно, своеобразный эксперимент. И если говорят, что эксперимент невозможен в общественных науках, в книге Б. А. это получает живое опровержение.

Что же получается в результате такого рассмотрения жизни древней Руси под таким углом зрения и в таких ракурсах? Действуя воображением историка, Б. А. воссоздал по крохам зримые и слышимые, почти осязаемые сцены старой русской жизни. И эта открывшаяся нам жизнь оказалась совсем не такой, какой она обычно нам представлялась. Культура домонгольской Руси открылась для него не с ее фасадной стороны, а с внутренней. Киевская Русь правильно, хотя и односторонне, ассоциируется до сих пор у современного читателя преимущественно с высокими и светлыми зданиями вроде Киевской Софии, с великолепными мозаиками и фресками, с тончайшими ювелирными изделиями и своеобразной «приподнятой» художественностью «Слова о полку Игореве» или «Слова о законе и благодати» митрополита Илариона. Книга Б. А. ввела нас внутрь княжеского двора, внутрь смердьеи клети, внутрь церковного «дома». То, что показал нам здесь Б. А. в современных нам терминах, а его «подручный гид» — Даниил Заточник — в терминах XII—XIII вв., оказалось гораздо сложнее, чем мы представляли себе, разглядывая эти здания с их фасадов. Сложность людских взаимоотношений, пестрота социального состава, сложность процесса классового образования открыли перед нами с новой стороны высоту культуры Киевской Руси. В этой книге Б. А. есть как бы «предчувствие» открытия берестяных грамот (обнаруженных А. В. Арциховским через три года после выхода книги — в 1950 г.). Берестяные грамоты в такой же мере, как и «Слово» Илариона, вскрывают сложность и высоту культуры Киевской Руси, но не с фасада, а изнутри: они вводят нас во двор «среднего» жителя древнерусского города. Из книги Б. А. Романова мы отчетливо увидели и то, что жить в этой обстановке было вовсе не так просто и не так легко, что эпоха была жестокой, что нравы были даже не «домостроевскими», но додомостроевскими. Иногда Б. А. рисует картины прямо-таки мрачные: конкретно, во всех деталях описана погоня за бежавшим холопом, дружинные нравы, продажа детей «одерень», нарушения клятв, случаи феодального самоуправства. Эта обрисовка тяжелых сторон жизни древней Руси вызывала больше всего возражений тех лиц, которые примитивно понимали патриотизм историка, как один лишь долг восхваления прошлого своей родины. А между тем разве могли мы сомневаться в том, что наряду

со светлыми сторонами жизни в домонгольской Руси были и стороны темные? Разве могли мы забывать, что в непосредственном соседстве с великолепными храмами с их полами из разноцветного мрамора и крупного шифера, с их стенами, украшенными драгоценной мозаикой и фресками, сама техника которых восходила к античности, их подлинные творцы ютились в жилищах полуземляночного типа.¹ А между тем сколько раз, думая о Киевской Руси, мы представляли себе только эти величественные сооружения, забывая о соседних хибарках ремесленников. Б. А. пошел по правильному пути, показав нам высоту домонгольской культуры в самой сложности социальных отношений того времени, в сложности процесса классового образования, свидетельствующего об определенной стадии высоты русской культуры, показав нам многообразие умственной жизни того времени, не затушевывая вместе с тем трудностей и горечи древнерусской жизни, не модернизируя ее и не принимая тона барственной к ней снисходительности. Киевская Русь настолько приближена в книге Б. А. к современному читателю, что вызывает в нем сострадание к «среднему» человеку того времени, к Даниилу Заточнику, до отказа «глотнувшему полойной горечи» жизни (стр. 283), к подневольному холопу или «свободному» смерду. Читатель воспринимает прошлое Руси как свое прошлое, и в этом, надо прямо сказать, поразительный художественный эффект книги, а вместе с тем ее подлинный патриотизм.

Главное в содержании книги — это люди, а «нравы» в ней — лишь фон, на котором эти люди показываются. Люди взяты Б. А. из летописи, из Киево-Печерского патерика, из Поучения Мономаха и т. д. — это реально существовавшие люди, обобщенные в традиционных средневековых формах под пером древнерусских литераторов, но в книге Б. А. как бы «переведенные» на язык современного нам художественного метода и ставшие типами своей эпохи. Отсюда в книге Б. А. наряду с Заточником — «заточник» (с маленькой буквы, стр. 285 и сл.), «заточники» (стр. 10, 201 и др.) и даже «заточницы» (стр. 310),² наряду с Переяславом — «переяславы», наряду с Георгием — «такой Георгий» (стр. 151), Пахомий «точь-в-точь такой же, как и Иоанн» (стр. 201) и т. п. Часть людских образов реконструируется Б. А. почти шахматовскими приемами из нелитературных источников — из Русской Правды, из Кириковых Вопросаний, из Митропольского Правосудия.

Центральная человеческая фигура первой главы — Заточник. Б. А. Романову удалось показать его не изолированно от социальных процессов его времени, как это делалось во многих историко-литературных исследованиях «Моления», а в сложном контексте эпохи. Впервые для объяснения многих особенностей «Моления» Б. А. привлек Русскую Правду, и это пролило свет не только на «Моление», но, отраженно, на многие статьи самой Русской Правды. Многие из того, что мы принимали до сих пор в «Молении» за литературные условности средневековья, оказалось тесно связанным с социальной действительностью своего времени: его «пессимизм» (стр. 19), его представления о князе (стр. 21—28), его сентенции о злых женах

¹ См.: М. К. Каргер. 1) Землянка — мастерская киевского художника XIII в. — КСИИМК, в. XIII, 1945; 2) Археологическое изучение древнего Киева. — Наука и жизнь, 1940, № 2.

² Д. И. Чижевский в своей книге «Aus zwei Welten (Beiträge zur Geschichte der slavisch-westlichen literarischen Beziehungen)» (1956) в главе, посвященной «социальному вопросу» в древнерусской литературе, сильно примитивизирующей взгляды советских литературоведов на проблему классового характера древнерусской литературы (Д. И. Чижевский изображает взгляды советских литературоведов как вульгарно-социологические), приписывает Б. А. Романову взгляд на «заточников» как на особый класс (стр. 31—32). Само собой разумеется, что Б. А. Романов ничего подобного утверждать не мог.

(стр. 37—45) и др. Искусное сопоставление сведений о себе Даниила Заточника со статьями Русской Правды (стр. 29—30) устраняет гипотезу о Данииле как о беглом княжеском холопе. Вместе с тем выясняется, что Заточник не один: что Заточник первой редакции «Моления» и Заточник второй редакции «Моления» отражают разные исторические этапы, первый — XII в., второй — XIII в., благодаря чему отпадают многие сомнения в том, что первая редакция «Моления» действительно старше второй.³ Однако Заточник не самодовлеющая фигура в данной главе: с его помощью Б. А. приоткрывает завесу «над ячейкой княжеского хозяйства в действии с фигурой тиуна во главе» (стр. 24 и сл.).

Следующая (вторая) глава уже прямо вводит нас в людской состав этого княжеского хозяйства. Ее тема — феодальная «челядь» в том определении этого термина, какое было дано ему Б. Д. Грековым. Литературных зарисовок XI—XIII вв. отдельных представителей этой челяди не сохранилось, однако и в данном случае Б. А. тонко решил свою задачу, воспользовавшись Русской Правдой и другими нелитературными памятниками, чтобы на основе скупых формулировок юридических статей представить драматическую картину погони за беглым холопом (стр. 73), картину работорговли (стр. 50—51), ряд житейских казусов с холопом в их центре (стр. 56 и 57), обрисовать положение холопов, сопровождающих своего господина в монастырь (стр. 58—60), положение чернеческих холопов (стр. 60—62), отношение к холопам церкви (стр. 65 и сл.) или просто тип оборотистого холопа (стр. 78). Этот ряд жизненно воспроизводимых сцен и типажей вскрывает бытовое положение холопов в рамках феодального общества. Он показывает те типично феодальные каналы, по которым шло пополнение рабочей силы в хозяйстве феодала, показывает стремление законодательства удержать эту рабочую силу в хозяйстве. В основном автор исходит здесь из представления о феодальной общественной формации, вскрывая лишь бытовую обстановку XII—XIII вв. Для автора, как и для Б. Д. Грекова, основой феодального хозяйства остается втягиваемый в него всяческими путями и способами смерд.

«Свободному» смерду как основной человеческой фигуре на этот раз не только хозяйства феодала, но и всей «киевской государственности» (стр. 115) и посвящена следующая (третья) глава. В этой третьей главе Б. А. Романов рисует бытовую обстановку жизни смердов, борьбу течений внутри господствующего класса по основным вопросам политики феодального государства XI—XIII вв. в отношении смердов, тонко вскрывает различное отношение к смердам в среде этого господствующего класса, начиная от полнейшего презрения к смерду и приравливания его к животному (стр. 116) и кончая «смердолюбием» Мономаха.

Четвертая глава посвящена хозяевам того вотчинного двора, который в книге Б. А. постоянно составляет как бы просцениум для демонстрации читателю людей древней Руси. Здесь, в этой главе и на этот просцениум, выходят наконец главные «герои» — светские феодалы, князья. Их выходу предшествует выход ближайших княжеских слуг: Ян Усмошевец, варяжский «князь» Африкан, внук Георгий — воспитатель Юрия Долгорукого, крупные бояре (Варлаам) и бояре поменьше: будущий Феодосий и его мать, портрет которой выгравирован Б. А. Романовым с особенно художественною четкостью. За этой пышной свитой следуют «идеализированные» летописцем князья Святослав и Игорь и наконец вполне реальный Владимир Мономах — центральная и наиболее импозантная фигура этой главы.

³ Доводы Б. А. Романова были приняты и М. О. Скрипилем в его статье «Слово Даниила Заточника» (ТОДРА, т. XI. М.—Л., 1955).

Личность Мономаха раскрыта Б. А. Романовым по-новому. В отличие от своих предшественников, в частности в отличие от А. С. Орлова, рассматривавшего Мономаха в ряду князей X—начала XI в. и создавшего «величественный» и несколько абстрактный образ этого князя, Б. А. Романов рассматривает Мономаха как представителя своего времени — времени феодальной раздробленности. Б. А. раскрывает биографию Мономаха не как нечто уникальное, а как среднюю и типическую, плотно включенную в княжеский быт своего времени (стр. 167). Б. А. подчеркивает в Мономахе добросовестную умеренность как гарантию политической мудрости и хладнокровия (стр. 167). В его Поучении, по-новому раскрываемом, Б. А. подчеркивает готовность на компромисс. Мономах показан как хозяин своего «дома», взывающий к максимальной активности и бдительности внутри своего хозяйства. И эта бережливая и опасливая хозяйственность типичного представителя эпохи феодальной раздробленности удачно подчеркивается Б. А. даже в наставлениях Мономаха о походе. Воин Мономах не только не сходен с воином Святославом, как это обычно считалось, но прямо ему противоположен. Здесь, в этих наставлениях Мономаха о походе, «как в зеркале, бытовая обстановка феодальной войны, а не степного дальнего похода» Святослава (стр. 179). Этот по-новому прочитанный в Поучении образ его автора, Мономаха, — крупный успех Б. А. Мономах в интерпретации Б. А. отнюдь не более мелкая историческая фигура, чем у его предшественников, но фигура эта уже не вознесена над эпохой, а плотно к ней пригнана, объяснена ею и введена в историческую перспективу.

Пятая глава рисует нам еще один тип крупных феодалов — «князей» церкви, а затем возвращает нас в той же церковной сфере к низам общества — к мелким представителям клира. Глава эта начинается с демонстрации личности ростовского епископа «Феодорца», а для церковных низов дает выразительную галерею из зарисовок в Киево-Печерском патерике.

Шестая глава, приближающая читателя к заключению, отрывает его от конкретных социальных категорий XI—XIII вв. и показывает «жизнь всякого человека» древней Руси, поскольку этого всякого человека захватывали одни и те же стороны целого церковного быта. Здесь перед читателем проходят роды, крестины, рост ребенка, его половое воспитание, примеры родительской власти над ним, вопросы, связанные с браком, семейным бытом, разводом, побочной семьей, и, наконец, вопросы, возникающие в обстановке преддверия смерти — составление завещания, последствия смерти главы семьи для ближайших ее членов. Многочисленные письменные попытки церкви регламентировать весь этот человеческий и по преимуществу семейный быт позволяют довольно точно представить себе и то, в чем этот быт противоречил установлениям церкви, и то, в чем он шел у церкви на поводу.

Наконец, заключительная (седьмая) глава возвращает нас к центральному образу книги — к Даниилу Заточнику, впрочем постоянно присутствовавшему и в других главах и своим присутствием — своими вопросами и сомнениями — как бы направлявшему внимание читателя к следам классовой борьбы в ее многочисленных мелких бытовых проявлениях. Заточник здесь по-своему читает «Слово о полку Игореве» и оценивает его со своей, неожиданной для нас, точки зрения. По-своему оценивает Заточник и «русских жен» «Слова» во главе с Ярославной, по-своему звучит для его уха и известная фраза из обращения к Всеволоду Суздальскому: «если бы ты был здесь, то была бы раба по ногате, а раб по резане», и резанувшая его по-живому заключительная концовка «Слова» — «князем слава и дружине» — той самой дружине, к которой пришлось когда-то принадлежать

и ему самому. Замысел столкнуть «в лоб» оба произведения, мысленно заставив автора одного из них читать другое, исключительно оригинален и едва ли повторим: он типично «романовский».

Далее в той же главе Б. А. показывает Заточника в поисках устойчивого жизненного положения и в воображении заставляет его еще раз пройти по всем тем кругам жизни, которые только что были раскрыты автором в предшествующих шести главах книги. Эта заключительная глава называется «На распутьи» — она и в самом деле показывает неустойчивость социальной жизни XII—XIII вв., становление нового общества, сложные явления, сопутствующие процессу классообразования. Она вводит нас в преддверие новой эпохи и как бы подсказывает будущие возможные выходы из этой неустойчивости.

На протяжении всей своей книги Б. А. стремится прочесть в памятниках XI—XIII вв. непосредственные, живые следы исторической действительности. Он стремится к конкретному до мелочей воспроизведению «жизни» XI—XIII вв. и, настойчиво пересматривая источники, продельывает работу, близкую литературоведам. Он искусно избегает постоянно подстерегающих его на этом пути опасностей: принять за достоверный факт традиционный литературный мотив (в анализе литературных произведений) или традиционное церковное установление (в анализе церковно-канонических памятников) или в специфических особенностях средневекового мышления увидеть отражение какой-либо определенной политической точки зрения.⁴

Книга «Люди и нравы древней Руси» трактует один из самых существенных вопросов изучения: изображение людей древней Руси, но трактует не с литературоведческой точки зрения, а с исторической. Б. А. Романова интересуется живая личность, стоящая за ее изображением; литературоведа же всегда будет интересовать само изображение, но это последнее не может быть до конца понято, если нет точного представления о первом.

На том же высоком уровне, что и комментарии к «Правде Русской», выдержаны и комментарии Б. А. к Судебнику 1550 г. («Судебники XV—XVII вв.», М.—Л., 1952), дающие важный конкретный материал не только для историков, но и для литературоведов и лингвистов.

Заслуживает внимания переводческая работа Б. А. Романова. В 1950 г. в серии «Литературные памятники» вышло издание «Повести временных лет», в котором вторая половина этого памятника (с 1016 г. и до конца) была переведена Б. А. Романовым. Принципы этого перевода далеко не

⁴ В целом Б. А. умело ведет свое изложение в безопасном расстоянии от этих подводных препятствий, однако кое-какие мелкие недочеты могут быть отмечены. Некоторые из правил Кирика обусловлены общехристианской практикой и вряд ли могут быть сопоставляемы со статьями Русской Правды (стр. 111 — погребение костей умерших), другие отражают типические для психологии всякого христианского писателя положения (стр. 220 — преступления, совершенные еще в язычестве, не в счет), третьи, может быть, в большей мере отражают интерес средневекового богослова к сложным казусам, чем непосредственную и «частную» действительность (стр. 109 — убийство в церкви). Вряд ли можно также считать компромиссом со стороны церкви разрешение монахам и иереям присутствовать на мирских пирах: духовник обязан был посещать своих духовных детей на дому в качестве гостя (С. Смирнов. Древнерусский духовник. М., 1913, стр. 69), знать все частности их семейной жизни, учить их за трапезой и на мирском пиру после четвертой чаши (И. Срезневский. Сведения и заметки, № 4, СПб., 1874, стр. LVIII, 321—322). Не всегда следует видеть в древнерусском термине «раб» (стр. 59 и 62) наше значение этого слова. Термин «раб» в церковной литературе имел церковно-условное значение («раб божий»). Наконец, вряд ли следует сейчас, после соображений В. Л. Комаровича (История русской литературы, т. 1, Изд. АН СССР, М.—Л., 1941, стр. 282 и сл.), без оговорок говорить о третьей редакции Повести временных лет как о печерской, а не выдубицкой.

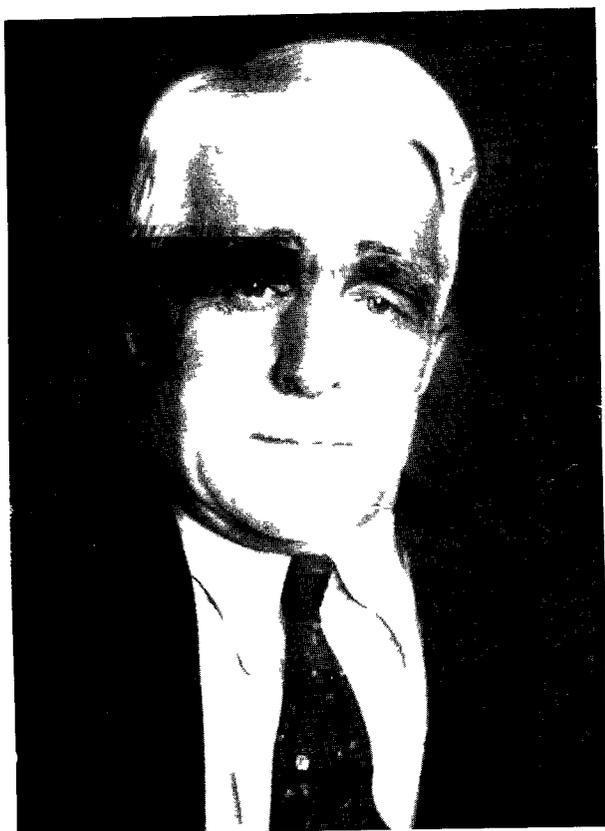
бесспорны. Б. А. Романов порою не столько переводил древнерусский текст, сколько его переизлагал, растолковывал, и его перевод сам по себе требовал некоторого истолкования, а потому был во многом исправлен и приближен к древнерусскому тексту редактором издания.

Начиная с конца 30-х годов Б. А. Романов постоянно бывал на заседаниях Сектора древнерусской литературы, принимал участие в обсуждении его работы, печатно выступал с рецензиями на издания Сектора по древнерусской литературе, участвовал в работе серии «Памятники литературы» и охотно консультировал молодых специалистов Сектора по вопросам древнерусской истории.

Короткая, но блестящая преподавательская работа Б. А. Романова в Ленинградском государственном университете (с 1919 по 1927 г. и с 1944 по 1951 г.) заслуженно принесла ему славу одного из лучших преподавателей Исторического факультета и позволила ему воспитать целый ряд талантливых исследователей как древней, так и новейшей русской истории. Многие из молодых специалистов по древнерусской литературе (М. А. Салмина, М. Д. Каган, Р. П. Дмитриева и др.) слушали его лекции в университете и навсегда сохраняют о нем благодарную память как об ученом исключительной личной одаренности и интеллектуального обаяния. Он учил работать над вопросами, слабо обеспеченными материалами, учил наглядно «вообразить» себе исторические ситуации, делая иногда предметами семинарских занятий свои собственные научные затруднения, собственную текущую научную работу, воспитывая в учащихся любовь к самой «черной» предварительной работе источниковеда.

Б. А. был увлекательным собеседником: несколько старомодным *causeur*ом — остроумным, элегантным, абсолютно корректным к своему партнеру. Речь его блестела неожиданными сравнениями, всегда острыми, отчетливо конкретизировавшими мысль, заставлявшими взглянуть на предмет с необычной стороны. Употребляя термин формалистического литературоведения, можно было бы сказать, что Б. А. своими образными выражениями мастерски «остранял» явления, снимал с них привычную безобидность, заставлял задумываться и самостоятельно, вне всякой традиции, решать научные проблемы. Своими сравнениями и образами Б. А. выводил явления из их обывательской трактовки, открывал для обозрения и беспристрастного изучения. Очень часто казалось, что он вулгаризировал историческое явление, делал его сугубо конкретным, показывал слишком натурально. Но это только казалось, ибо снятие всех и всяческих покровов, развенчание и освобождение от «мнений» не было их вулгаризацией. Манера говорить острее всего сказалась в книге Б. А. «Люди и нравы древней Руси» — книге, которую из всех своих работ он наиболее ценил.

Научный путь Б. А. поучителен во многих отношениях. Мне хочется подчеркнуть в Б. А. главным образом то, что и сам Б. А. считал наиболее важным в научных занятиях: историческое чутье, историческое воображение при сугубо тщательном, тончайшем филологическом анализе источников, при непосредственной и постоянной близости к конкретному материалу изучения.



БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ РОМАНОВ